



Н·С·ЛЕСКОВ

Н.С.Лесков. Собрание сочинений в 11 томах. Том 1. // Государственное
издательство художественной литературы, Москва, 1956
FB2: Vitmaier, 2008-08-15, version 1.0
UUID: 7909208e-c19c-102b-8639-bb1d5f8374bd
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Николай Семёнович Лесков

Котин доилец и Платонида

Содержание

Глава первая	0005
Глава вторая	0008
Глава третья	0011
Глава четвертая	0016
Глава пятая	0019
Глава шестая	0023
Глава седьмая	0025
Глава восьмая	0028
Глава девятая	0030
Глава десятая	0040
Глава одиннадцатая	0046
Глава двенадцатая	0050
Глава тринадцатая	0060
Глава четырнадцатая	0064
Глава пятнадцатая	0070
Глава шестнадцатая	0074
Глава семнадцатая	0079
Глава восемнадцатая	0081
Глава девятнадцатая	0087
Глава двадцатая	0092

Николай Семёнович Лесков
КОТИН ДОИЛЕЦ И
ПЛАТОНИДА

*Изломанная утварь
Разрушенного дома.*

Шекспир.

Глава первая

В Старом Городе не было человека, который пользовался бы такою известностью и уважением, какими пользуется там даже в наше неуважительное время очень скромный человек, обработавший бесплодную почву ныне плодоносного городского острова. Человек этот происходил от раскольникового колена купца Деева; но не род и не порода, а жизнь и дела этого человека дали ему его известность и почтение от ближних.

Купец Семен Дмитриевич Деев был только виновником зол для того, о ком здесь будет рассказано.

Это небольшая история.

Сделавшись главою людей, не пошедших к соединению с церковью, старый Деев построил себе деревянный дом, на «отлете», в самом конце города. Нынче никто не живет в этом доме, и он стоит одинокий, сумрачный и неприветливый. Таков же, впрочем, был этот серый двухэтажный дом с двумя ярусами маленьких окошек и в те дни, когда в нем еще обитали живые люди и в окна его светили

мерцающие огоньки неугасимых лампадок. Дом этот не хотел иметь сообщения ни с кем и немилосердно карал тех из своих обитателей, у кого по какому-нибудь случаю замечалось хоть малейшее желание сблизиться с новым миром. В целом городе почти никто не имел никакого понятия о том, как живет в раскольничьем доме Семена Деева. На улице старогорожане встречали только самого Деева, но встречали его всегда капризного, угрюмого, ко гневу склонного и мстительного. Если же встречался где-нибудь кто бы то ни было из других жильцов этого дома, то все смотрели на него как на выходца с того света. О женщинах, здесь живших, знали еще менее, чем о мужчинах. Они там рождались или приходили туда для сожительства, там же и умирали. Ворота деевского дома затворялись за ними только за мертвыми. Из этого были только два исключения.

Пятьдесят лет тому назад, в одну самую бурную, темнейшую и человеконенавистную ночь, грозный деевский дом вытолкнул в бесприютность молодую девушку.

Дом словно выплюнул спросонья это дитя

и снова захлопнул до другого случая свои сердитые веки.

Глава вторая

Вытолкнутая девушка была сирота, племянница Семена Деева, Аксинья Матвеевна. Ей было тогда всего восемнадцать лет; но, несмотря на свое строгое девичье затворничество, она знала, куда ей нужно идти в эту суровую ночь своего изгнания. Она шла из улицы в улицу, из переулка в переулок, прямо к маленькому серенькому домику на церковном погосте, и здесь робко постучалась в покосившееся окошко. Через несколько минут она постучалась несколько смелее, и в ту же минуту навстречу ей выскочил молодой человек в одном белье и в сапожных опорках. Это был пономарь Иона Пизонский.

– Ксюша! Косатка! – вскрикнул он с изумлением, увидя перед собою девушку.

Изгнанница только уныло шепнула:

– Выгнали.

– Выгнали?

– Выгнали; избили и выгнали.

Молодой человек с беспечнейшею радостью широко распахнул калитку и, перехватив к себе девушку, запер задвижкой ворота

и внес на руках свою дрожащую гостью в очень небольшую горенку.

Весь домик Ионы Пизонского, к которому пришла Ксюша, состоял из одной крошечной горенки и еще меньшей приспешной. Иона Пизонский был человек одинокий и молодой. Он проводил беззаботнейшую жизнь и обыкновенно распевал с голода самые веселые песни. Песни эти, его красота и беззаботная удаль полонили для него сердца старгородских затворниц и добыли ему пылкое сердечко изгнанницы деевского дома. Сцена, которую мы видели, была сцена, резюмировавшая их тайную любовь в тот момент, когда силою природы вещей любовь эта перестала быть тайною для деевского дома.

Выгнанная сирота, скромная как агнец, пошла на все за своим любимцем: она приняла его веру, его имя и звание – сделалась его женой и пономарицей, и через пять месяцев родила ему сына Константина.

– Оступилась и не доносила, – острил на свой счет по этому случаю пономарь Пизонский; а через год сам оступился, рубя осенью хворост на крутом обрыве над Турицею, поле-

тел вниз головою и один-одинокó отдал свою веселую душу единому богу.

Пономарица осталась с годовым ребенком одна, яко перст.

Ворота деевского дома, в которые постучалась вдова в эту годину несчастья, отворились только для того, чтобы послать ей одно проклятие.

Не имея ни роду, ни племени, ни пристанища, куда приклонить голову, вдова Пизонская приютилась в женском монастыре, в келейные. Туда же, в женский монастырь, внесла она с собою и своего сына, назвав его обманно девочкой Макриной.

Глава третья

Хитрость, вызванная отчаянным положением вдовы, удалась ей как нельзя лучше. Благодаря беспрестанному бдению матери настоящий пол ребенка не был никогда никем обнаружен; но зато и не знало его и само дитя, и само оно тоже считало себя девочкой. Когда же Константин Пизонский, под псевдонимом Макрины, достиг в монастыре двенадцатилетнего возраста, вдова Пизонская, заботясь о воспитании сына, вывела его вон из обители, передела в овраге из юбки и черноколенкорового платья в желтый нанковый халат и отдала в духовное приходское училище под его настоящим именем Константина Пизонского. Но книжная премудрость не далась ребенку. Несчастное дитя прежде всего сделалось всеобщим посмешищем. Скинув с себя свой женский псевдоним, оно, во-первых, никак не могло приучиться считать себя мальчиком и постоянно говорило: «я была, я пришла, я ела»; а это дало повод издеваться над ним с первой же минуты. Учиться ребенок был очень способен; но тогдашняя учи-

личная строгость и ядовитые доуки товарищей отняли у него всякую возможность успеха. Запуганность его дошла до невероятных пределов и была причиною окончательного смещения его в неспособные. Однажды, еще вскоре после своего поступления в училище, Пизонский, надписывая свое имя на тетради, вместо Константин, написал Кинстинтин. Учитель поймал его на этой ошибке и ударив по голове лозою, спросил:

– Как твое имя?

– Константин, – отвечал ребенок.

– Пиши на табуле.

Дитя взяло дрожащею рукою мел и почувствовало, что рука его бежит, бежит, бежит неудержимо и чертит одну за другою бесконечные буквы. Во всю доску тянется Константиинтинтинтинтинтин... и все нет ему конца, нет заключения, нет предела. Ребенок чувствует, что это что-то не то, что это что-то неладно, – он млеет, дрожит и все ведет слог за слогом: «тинтинтимтинтин»...

– Что ты, стрикулист, так больно длинен? – замечает ядовито учитель, – держись своей препорции!

Пизонский быстро стер с доски бесконечную цепь слогов и твердою, решительною рукою написал короткое «Котин».

Приведенный в недоумение этим быстрым сокращением протяжно-сложенного слова, учитель счел это за оскорбительный фарс: он снова резнул Пизонского лозою по уху и снова еще более строгим голосом напомнил ему о соблюдении «пропорции».

– Не могу, – решительно отвечал ребенок.

– Чего ж ты не можешь?

– Не могу написать по препорции.

Учитель качнул назад головою, и дитя, зная, что означает сей знак, с невозмутимою покорностью подошло к скамейке, у которой всегда лежали в ведре пучки розог.

– Ну, Макрина, укладывайся! – приглашали его очередные секуторы, и совершалася казнь.

И всякий раз повторялись над ним эти шутки и потехи, и всякий день выводил он целый час, при общем смехе, бесконечное *Константинтинтинтинтинтин* и потом, доходя до отчаяния, вдруг писал короткое – *Котин* и шел к секуторской скамейке. Всякий

день его стегали по незажившим рубцам, и он все-таки не входил в свою препорцию, а всегда или полз с своим именем в бесконечность, или отчаянно ставил короткое: «Котин».

Окончательное воспитание Пизонского завершилось тем, что товарищи сломали ему носовой хрящ и своротили на сторону нос, а начальство исключило его «за великовозрастием и малоуспешием» из училища и предоставило ему избрать себе дозволенный законом род жизни. Для Пизонского все дозволенные роды жизни были равнозначащи и равноценны, а потому он вовсе «е заблагорассудил позаботиться об избрании какого-нибудь одного из них себе в исключительную собственность. Он прежде всего подумал о хлебе и поступил в науку к энциклопедисту-ремесленнику, меднику, механику, переплетчику, астроному и поэту. Вдвоем с своим чудачком-хозяином они были все и ничего: они переплетали книга, малярничали, лудили кастрюли – и все это делали „ничтоже сумняшеся“, и дешево и скверно. Скучного дневного заработка им едва доставало на самое

нищенское пропитание; но это их нимало не смущало. Сидя зачастую и без работы и без хлеба, они забывали о голоде, азартно читали какую-нибудь старую астрономию и тыкали пальцами по засаленному небесному атласу. Спускающаяся на землю вечерняя темень только пригоняла их к окну, из которого они глазели целые ночи на небо и определяли созвездия, или читали на память „Манфреда“ и Козловского „Чернеца“ [1], или же, наконец, усевшись на порожке своей хаты, распевали дуэтом:

*О человек! Вспомни свой век.
Взгляни ты на гробы,
Они вечны дома.*

Неизвестно, докуда бы продолжалось такое сладкое и поэтическое житье нашей Макрины, если бы ее, как человека, не избравшего себе в срок никакого дозволенного законом рода жизни, не отдали «по разряду» в рекруты.

Глава четвертая

Три года Константин Пизонский пробыл дьячком полковой церкви и, наконец, по ходатайству матери, возвращен для ее прокормления. Но своей старухи Константин Пизонский, возвратясь домой, уже не застал на свете. Он пришел в Старый Город и явился к дяде-староверу Маркелу Дееву, Маркел Семенович Деев допустил Пизонского к себе на глаза, выслушал все, что тот говорил ему, а потом позвал всех, кто у «его был в семье, и сказал племяннику:

– А ну-ка, повернись!

– Как, дядюшка? – спросил Пизонский.

– Так, боком повернись.

Тот повернулся.

– Ну, а теперь задом стань.

Пизонский и это исполнил.

– Хорош? – спросил Маркел Семеныч домашних.

Общий хохот, где громкий, где сдержанный, раздался из всех углов в ответ на это восклицание.

На Пизонского и действительно трудно бы-

ло смотреть без смеха. его лысая и вдобавок по-солдатски обточенная голова, его кривой нос, его птичьи круглые глаза, синие губы и длинный нанковый капот, купленный в том городе, где кончилась его военная карьера, – все это вместе взятое давало самый смешной и дурашный вид его фигуре.

– Служил куцым бесом три года и выслужил три пуговицы – и то ладно. Ну, и больше же, брат, не хлопочи, не оборачивайся, а как стал теперь лбом к порогу, так и иди вон, откуда пришел, – объявил ему дядя, твердо и решительно изгоняя навсегда из своего правого дома сына еретика, и еретицы, Пизонский вышел.

С непокрытою от рассеянности головою прошел он по всему городу, удивляя своею лысиною прохожих, которые смеялись над ним злее, чем дети смеялись над лысым пророком; но Пизонский, однако, был терпеливей пророка: он никого не проклял, а только тихо поплакал, севши под ракитой за городской заставой. Он был совершенно неприютен и сидел на дороге, как оципаный филин. Обыкновенно думают, что в таком поло-

жении человек находится на один короткий шаг от злого дела, но это не со всеми так бывает. По крайней мере Пизонский не задумывал никаких злых дел: ему было только очень тяжело и больно, и он сидел и плакал просто – чтоб выплакаться. Однако невозможно же было вечно сидеть на большой дороге: надо было куда-нибудь шагать, где-нибудь искать какого бы то ни было приюта.

Глава пятая

Пизонский вспомнил, что у него где-то, не очень далеко от города, была замужем за однодворцем материна племянница, а его двоюродная сестра, по фамилии Набокова, и пошел искать ее. Шел он – близко ли, далеко ли – и пришел на другой вечер в село, где надеялся увидеть свою родственницу « где узнал, что «и ее самой, ни ее мужа в живых нет, а что остались после них две девочки: Глаша лет пяти да Пилочка – по второму году; но и их, этих сирот, нету в наличности, и их забрала к себе на воспитание слепая нищая, Пустыриха. Вот тебе и весь род и все племя!

«Пойду, посмотрю по крайней мере хоть какие эти девоньки», – подумал все более и более сиротевший Пизонский, и он отыскал Пустыриху и нашел у нее детей.

Встреча его с детьми была перед вечером. Обе девочки, в ветчайших рубищах, сидели на пыльной завалинке: старшая играла, подкидывая ручонками крошечные камешки, а младшая – томилась, лениво следя глазенками за сестринными руками.

Пизонский выскочил к ним неожиданно, из-за угла хаты, и остановился перед ними, как уродливый сказочный гений.

Посмотрев на детей, он сел около них на травку и обнял их обеими руками.

– Голубятки! – заговорил он, – плохо вам тут у бабушки?

Дети пугливо прижались одна к другой, сначала долго друг на друга смотрели и потом обе разом тихо заплакали.

Пизонокий опустил в карман руку и, достав оттуда немного смятую печеную луковицу, обдул прилипшие к ней крошки хлеба, разломил ее ногтями пополам и подал сироткам.

Тайный ли голос крови или заманчивый вкус сладкой печеной луковицы сразу расположил сироток к Пизонскому. Они сползли с завалины, уселись одна против другой на его коленях и сосали лук, теребя ручонками ясную солдатскую пуговицу, пришитую к воротнику дядинового коленкорového халата.

– Бьет вас бабушка, детки? – начал прямо Пизонский, поглаживая девочек по головкам.

– Бот, – прошептали тихо дети.

– И больно?

– Боно, – проронили они еще тише и робче и, смаргивая слезы, напряженно смотрели с раздирающей детской тоскою на ту же глупо блестящую пуговицу.

Пизонский развздыхался. Дробные слезы ребячьи на щеках забитого ребенка непереносимы. Необъятная любовь и нежность овладели сердцем Пизонского в виду этих слез. Он готов был все сделать, чтобы отереть эти слезы; но что мог для кого-нибудь сделать он – нищий, калека и урод, когда сотни людей, представляя себе его собственное положение, наверное почитают его самого обреченным на гибель?

И всякий бы простил ему безучастие, потому что бедный урод ничего не мог сделать для двух сирот. У них был хотя нищенский приют Пустырихи, Пизонский же был совсем бесприютен. А взять чужое дитя – это, говорят, так ответственно, что страхом этой ответственности всегда можно извинить себя и оставить все на волю безответственного случая.

Пизонский, к счастью, не философствовал,

а хорошо чувствовал и потому поступил иначе.

Дождавшись возвращения Пустырихи домой, он попросился у нее переночевать. Ночью он все вставал и наведывался к детям, а к утру окрест его запорхали какие-то чудные грезы, и утром он, забывая собственную беспомощность и неприютность, стал умолять старуху, чтобы она отдала ему сироток.

– Я их, бабушка, воздую, я выучу их, бабонька, – говорил Пизонский.

Старуха и слушать об этом не хотела. Она хотела посылать детей побираться и потому выгнала самого Пизонского и захлопнула у него перед носом дверь свою.

«Тягаться с нею судом, – подумал Пизонский, – долго, и денег у меня нет на то, да и пока велят ей отдать мне детей, она их непременно ослепит». Но расстаться с детьми и снова идти бог знает куда одному – Пизонскому теперь уже показалось невозможно, и он в течение следующей за сим ночи придумал нечто другое.

Глава шестая

Увидев у одного крестьянского половня[2] лозовую плетушку, в которой носят мякину и ухоботье[3], Пизонский утащил ее за сарай, высыпал из нее вон ржаной колос, настлал на дно свежего сена и припрятал у Пустырихи на огороде. (Он сделал преступление – он украл плетушку.) Чуть только на другой день выглянуло на небе солнышко и Пустыриха, по заведенному порядку, тронулась с поводаркой в побор, Пизонский схватил оставшихся дома девочек, посадил их в плетушку, подцепил ее своим кушаком за плечи и с длинным костылем в руке зашагал своими длинными ногами к городу. Боязнь погоны и страх за участь детей, которые, как неоперившиеся птички, спали, свернувшись, в плетушке за его плечами, так гнали Пизонского, что он не отдыхая отмахал в летний день шестьдесят верст и вечером стал в Старый Город. Здесь ему не было места одному, и сюда он теперь являлся еще с двумя взятыми на свое попечение детьми.

Всякий имел полное основание назвать

этого человека дураком.

– Что-то он теперь будет делать? Куда он с ними поденется?

– Дурак!

Глава седьмая

Качаясь за спиною Пизонского, обе путешествовавшие в плетушке сиротки спали целый день; но вечерняя прохлада разбудила их, и они начали с холоду ежиться и попискивать. Но это уж было у пристани. Пизонский в это время уже свернул в сторону в подгородние конопляники. Здесь он взял обеих девочек под мышки, вытряс на землю бывшее на дне плетушки сено, уложил на него детей, сел над ними на корточки, как насадка, и, подобрав их под грудь, в течение всей короткой ночи согревал их животною теплотою собственного тела и сам плакал... сладко плакал от счастья.

«Чего мне! – думал он, – и за что такая радость! Ты, господь, хотел собрать детей Иерусалима, как кокош собирает птенцы, а они не захотели... они тебя огорчили, – они не пошли, а мои пришли ко мне... я их унес... украл... Я их грею... Господи! прости мне, что я их украл!.. Дай мне укрыть их от зла... и прости мне... прости, сделай милость, что я также украл и плетушку!»

И он всхлипнул, окончив эту молитву, и тут же уснул, согревая под грудью своею крепко спавших сироток.

Рослая конопля закрывала это гнездо так, что его можно было видеть только с неба.

Ранним утром, чуть только вспыхнуло погожее солнышко, Пизонский встал с своего места, накрыл спящих детей плетушкой и, чтобы они, проснувшись, не могли ее с себя сбросить, связал над нею крест-накрест четыре пучка конопли и вышел из своей засады. Оглядевшись на все стороны, он вздохнул, перекрестился и прямо задами побрел к городским огородам. Город еще спал, нежась в подымавшемся с реки дымчато тумане. Места, которыми теперь шел Пизонский, очевидно, были ему не очень знакомы, потому что он долго осматривал, припоминал малейшие приметы и только после долгих соображений, открыв глазами большой огород, обнесенный вокруг высоким плетнем из лесной орешины, направился прямо к этому огороду и перелез через окружавшую его канаву, потом через плетень. Очутившись затем на самом огороде, Пизонский изогнулся дугою,

быстро пробежал по межам и спрятался в грядках наперенного гороха.

Здесь он присел и стал кого-то высматривать. Целый час он просидел в горохе, то робко высовывая свою голову выше зелени, то снова быстро падая в межу при малейшем шуме. Ради каких соображений явился сюда Пизонский, только несколько дней тому назад изгнанный из этого дома с неслыханной суровостью и позором, и кого он теперь желал здесь встретить? Этого отгадать было невозможно. Одно только можно было основательно предположить, что Пизонский ждал здесь не Маркела Семеныча.

Глава восьмая

Пизонский действительно выжидал появления совсем другого лица из семьи Деевых и невыразимо смутился, когда тихо скрипнули ворота заднего двора и на огород вышел высокий кучерявый парень в светлой розовой рубашке. Это был не Маркел Семеныч и не сын его, Марко Маркелыч, но, очевидно, это все-таки был и не тот, кого желал встретить Пизонский.

Завидя вошедшего молодца, Пизонский не только не встал, но пригнулся как можно ниже.

Молодой человек, который вошел в огород, сделал несколько шагов по узкой дорожке, разделяющей гряды на две ровные половины, подперся левой рукой в бок и, весело глянув по широкому пространству, занятому росистыми овощами, тихо зевнул, потянулся и стал, почесывая сапожком одной ноги другую. Этот юноша была сама молодость, сама воплощенная свежесть. Пизонский его рассматривал не без удовольствия, забыв даже как будто о своем нетерпении. Но вот ворота

скрипнули еще раз. В этот раз на огороде показалась высокая молодая женщина с веселым румянцем и прямыми соболиными бровями. Она была одета в темной шерстяной юбке, старенькой гарнитуровой душегрейке и покрыта по голове белым бумажным платком с розовыми каемочками.

Завидя эту женщину, Константин Ионыч покраснел от радости до ушей и заметался по меже. Явно было, что это и есть то самое лицо, которое он хотел здесь видеть, и что теперь его занимала одна мысль: как привлечь на себя ее внимание, – не обратив на себя в то же время внимания стоящего парня. Но такой маневр был решительно невозможен, и Пизонский снова присел на колени и, удерживая дыхание, стал торопливо раздвигать синеватые усы гороха.

Глава девятая

Между тем белолицая красавица, войдя на Могород, приподняла одной рукою от росной травы юбку и прямо направилась к гряде с молочным свекольник. Пизонскому показалось, что, завидя стоящего на дорожке парня, молодая женщина немножко смутилась, но тотчас же и улыбнулась. Дойдя спокойною поступью до гряды, она поставила на между большую, расписанную сусальным золотом деревянную чашу и стала проворно срывать и класть в нее молодые свекольные листья. Этим временем парень приблизился тихой щеголеватой походкой к красавице и с веселой улыбкой проговорил:

– Здравствуйте, невестка!

Та, к которой относилось это приветствие, не обратила на него никакого внимания.

Молодой человек снова усмехнулся; он обошел невестку с другой стороны и уже гораздо смелее прежнего проговорил:

– Платонида Андреева, здравствуйте!

– Здравствуй и ты, Авенир Маркелыч, – отвечала, не подымая лица от гряды, Платонида

Андревна.

Авенир отдал невестке низкий поклон и стал помогать ей рвать в чашку свекольник.

– Ну, а помогать мне я тебя не прошу, – проговорила Платонида Андревна.

– Что же это вам мешает?

– Не мешает, а не хочу.

– Позвольте.

– Нет, не позволяю.

И с этим словом выбросила назад из чаши нарванный Авениром пук свекольных листьев.

– Отчего вы, невестка, такая сердитая? – запытал, распрямляясь во весь рост, молодой деверь.

– Так; не хочу, чтобы ты тут вертелся.

Авенир улыбнулся, опять нарвал другую горсть зелени и опять положил ее в расписную чашку.

– Послушай, Аваиир! иди ты, сделай милость, от меня с своею помощью прочь! – вскрикнула красавица и, не выдержав, рассмеялась и бросила нарванную Авениром зелень прямо ему в лицо.

Авенир, кажется, только и дожидался этой

перемены.

– Ну, вы же вот, невестка, рассмеялись и опять стали красавица!

– Еще соври что-нибудь.

– Вот ей-богу, разрази меня бог на сем месте, – красавица, а нету на свете ни одной царицы такой красивой, как вы! – заговорил он, глядя на нее со сложенными на груди руками.

– Тьфу! – отплюнулась без сердца Платонида Андревна и опять стала рвать белой рукой росный свекольник.

Авенир отошел, походил немножко и, снова приблизясь к невестке, заговорил тихо:

– А отчего это и об чем вы, невестка, вчера с вечера плакали?

– А ты почему это знаешь, что я плакала?

– Да я ж будто не слышал?

– Гм! Где ж это ты, дурак, мог это слышать? – Платонида Андревна улыбнулась и сказала: – Нет, я вижу, что вправду надо на тебя Марку Маркелычу жаловаться, чтобы тебя на ночь запирали.

– Для чего меня запирать?

– Чтоб ты под окнами, где тебе не следует, не шатался.

– Ну, у меня про то на случай и потолок в палатке разбирается, – отвечал Авенир.

– Дурак ты сам-то разборчатый, и больше ничего, – проговорила Платонида Андревна. – Мало тебя, дурака, и без того за меня колотят, так ты, видно, хочешь, чтоб еще больше тебя брат с отцом колотили. Ну, и поколотят.

– А пусть их пока еще поколотят. Только я чуть ли скоро и сам не начну им сдачи давать.

– Ну да, как же, сдачи! Нет, а ты вот что, Авенир; он вон, свекор-то, Маркел Семеныч, намедни при всех при отцах из моленной сказал, что он такую духовную напишет, что все одному Марку Маркелычу отдаст, а тебе, глупому, за твое непочтенье к родителю – шиш с маслом.

– Что ж? вы же, невестка, тогда с вашим мужем богаче будете. Я этим счастлив буду.

– Ммм!.. Нет, скажи ты, пожалуйста, что ты это в самом деле, Авенир, о себе думаешь?

– А ничего я, невестка, не думаю. Почто мне много думать-то?

– Нет, тебе нравится, что ли, что тебя били за меня да колотили?

- А может быть и нравится.
- Дурак.
- Дурак, да вам преданный.
- Так я не хочу, чтобы тебя увечили за меня, да еще нищим сделали. Что ты это забрал себе в голову?

Авенир молчал и стоял сложа руки. Платонида Андревна, сдвинув брови, говорила внушительно:

– Ты б то, непутящий ты парень, взял себе в разум, что я ведь твоего брата жена; невестка тебе называюсь.

– Да я разве этого не помню, что ли? – отозвался нетерпеливо Авенир. – Я все это прекрасно помню и ничего нехорошего не думаю.

– Нехорошего! Хорошее или нехорошее ты себе думаешь, а только знай ты себе, что ты мне надоел, и я не хочу, чтоб ты за мной слонялся. Слышишь ты это, Авенирка, или нет? Слышишь! не смей и никак не смей ты здесь со мной больше встречаться... И заступаться за меня тоже дома не смей и не приставай ко мне, что я красивая... потому что не хочу я этого; не хочу и не желаю... Да и... коли уж на

правду пошло, так знай, что и ты мне постыл, вот что!

– Ну, это что... на что пустое говорить, невестка, неправду?

– Как пустое? Как это пустое? С чего это ты взял, что это пустое?

Авенир махнул рукою и, наложив на губы свекольный листочек, насосал его и равнодушно хлопнул.

Платонида Андревна рассмеялась и, пожав плечами, проговорила:

– Ну, смотрите, пожалуйста, на этого дурака, добрые люди!

– Эх уж, невестка, полно вам все меня дураком-то звать, – отвечал Авенир.

– Что?

– А зачем вы меня целовали-то?

– Когда это? Когда это я тебя, дурака, целовала? Врешь ты это все, врешь ты это, лгун, никогда я тебя не целовала.

– Никогда?

– Никогда.

Платонида Андревна покраснела и, нагнувшись, стала еще скорее дергать свекольные листья и бросать их в чашу совсем с зем-

лею.

– А забыли вы, невестка, как наших в прошлом году дома-то не было?

– Ну?

– А мы с вами тогда в прятки играли да на сене боролись... что, помните?

Платонида Андревна приподнялась и, строго смотря в глаза Авениру, спросила:

– Так что ж такое, что боролись?

– Ну, вот тут-то вы меня щекотали...

– Ну?..

– Ну, да и поцеловали, отпираться нечего, что поцеловали.

– Пфффю, пустяки какие он помнит! – отвела, закрывая рукавом лицо, Платонида Андревна. – Может, что и вправду как-нибудь тогда поцеловала, потому что ты еще мальчик, – отчего ж мне тебя было не поцеловать? Ты моему мужу младший брат. Я этак хоть и еще сто раз тебя, изволь, поцелую.

– Ну, поцелуйте.

Авенир сделал к невестке шаг и слегка тронул ее за белый кисейный рукав.

– Поди прочь, дурак! – серьезно проговорила, отшвырнув девереву руку, Платонида Ан-

древна. – Важность он какую придумал, – продолжала она, – что я поцеловала! В этом остроге живучи, черта с рогами, и того поцелуешь.

– А вот же и опять, невестка, неправду сказали; вот не очень-то вы брата целуете.

– Авенир! – крикнула, приподнявшись и стараясь говорить как можно строже, Платонида Андревна. – Что ты, негодный ты парень, очень хочешь, чтоб я тебя изругала? Так я тебя, поганого мальчишку, сейчас вот как нельзя хуже отделаю.

– Да что вы это все меня мальчишка да мальчишка. Полно вам; пора и перестать мальчишкой-то звать меня.

– А потому я тебя так зову, что ты мальчишка.

– Что мне двадцать один год, то и вам ведь столько же. Ничуть моего не больше на свете прожили.

– Я женщина.

– А я мужчина.

– Дурак ты, а не мужчина. Важность какая, мужчина! Да и разве такие-то бывают мужчины?

– Да, а то, невестка, какие же?

– Какие?.. А я вот не посмотрю, что ты мужчина, да оплеуху тебе хорошую дам.

– Ну и что ж такое – дам!

– И, ей-богу, дам!

– Да сделайте одолжение.

– И ударю тебя, и изругаю, и как не надо хуже высрамлю, – сказала, возвышая голос и на этот раз непритворно сердясь, Платонида Андревна. – Что это в самом деле за наказание! Ничего, балбеска этакой, не делает; на пильню его калачом не заманишь, торговле не учится, с пристани все норовит как бы ему домой скорей; да еще теперь что себе, мерзавец, вообразил? Голова б у другого треснула такое подумать. Иди ты, негодный, прочь! – крикнула она, размахнувшись на Авенира чашкой. – Прочь; а то сейчас брата крикну!

– Платоннида! – раздался в эту минуту со двора из-за сарая сухой, дребезжащий голос.

При первых звуках этого голоса Авенир запрыгал козлом через гряды и, перескочив через межу в горох, очутился как раз лицом к лицу с притаившимся здесь Пизонским.

Оба они сидели на корточках друг против друга, как сидят рано утром на лесной опушке молодые зайцы, и оба протирали себе руками удивленные глаза.

Глава десятая

Между тем Платонида Андревна, следя с улыбочкой за прыгающим Авениром, спокойно отвечала мужу:

– Сейчас!

– Что, не знаешь ли ты, где это Авенир? – продолжал тот же голос уже несколько ближе.

– Нет, Марко Маркелыч, не знаю, – опять отозвалась Платонида Андревна.

В калитке показался похожий на ежа низенький черный с проседью человек лет сорока пяти, с злою физиономиею и сурово выглядывающими исподлобья подозрительными глазами.

– А здесь его нет? – спросил он, остановясь и распявшись руками на калитке.

– Нет.

– И не бывал?

– И не бывал.

– Взаправду?

– Да что же ему здесь, Марко Маркелыч, делать?

– Где ж это он, шальная собака, запропа-

стился?

– Мне будто показалось что-то, что он на пристань рано пошел, – отвечала Платонида Андревна.

– Опять же таки все это он без времени делает.

– Торопился, видно, что работы много.

– Усерден очень! Ну-к быть ему нынче за это усердие опять без чаю. Мы с батюшкой идем на прядильню, а ты, если он вернется, чтоб самовара ему другого не смела ставить! Слышишь ты про то или нет?

– Слышу.

– Не давать ему чаю, когда он своего времени не помнит.

– Не дам.

– Такой мой приказ: не давать!

– Да не дам же, не дам, Марко Маркелыч. Неужели ж таки я вас в этом ослушаюсь? Можете после и Дарью спросить, – отвечала мужу Платонида Андревна.

Калитка хлопнула на блок, и из-за гряды синих бобов в ту же минуту с испугом высунулась голова Авенира. Он проворно запрыгал опять козлом через гряды и на бегу тихо

показывал Платониде Андревне рукою на гряде гороха.

– Скройся ты с глаз моих, нерачитель ненавистный! – проговорила, встречая его и озираясь по сторонам, Платонида Андревна. – Что ты бзыришь-то козлом по огороду? Пошел, тебе говорят, вон!

Но Авенир, не слушая этого приказа, тихо взял невестку за рукав и тихо же с серьезной миной указал ей рукою на гороховую гряду, за которой скрывался доселе Пизонский.

Платонида Андревна только что взглянула по этому направлению, как пронзительно вскрикнула и уронила из рук чашу со свекельником. В горохе, в нескольких шагах от поставленного для воробьев пугала, стояла длинная смешная фигура Пизонского, на которой, тоже как и на пугале, висели лохмотья мокрого коленкорового халата, подпоясанного зеленою коноплею.

– Миленькая! Постой! Миленькая Платонида Андревна, постойте! – заговорил Пизонский, вылезая из-за своей засады. – Як тебе, девушка, не с злом пришла.

Платонида Андревна с немим удивлением

рассматривала предстоящую ей странную фигуру; ей казалось, что это само гороховое пугало сошло с места, чтобы обличить ее в грехе Иродиады, то есть в ее хотя детской, но все-таки сердечной слабости к мужниному брату.

Константин Ионыч, разрушая убеждения Платониды Андревны о его тождестве с гороховым пугалом, поспешил счесться с нею родством, лотом напомнил, как его три дня назад приняли Маркел Семеныч и муж Платониды Марко Маркелыч, и, наконец, поклонившись Платониде Андревне до земли, стал просить ее пособить ему приютить спрятанных им на коноплянике детей.

Известное дело, что никогда и никому женщина не способна оказать более (великодушного сочувствия и услуги, как человеку, сделавшемуся случайно поверенным ее сердечной слабости.

Платонида Андревна подтвердила непреложную истину этого мнения: не расспрашивая ничего более у Пизонского, она прямо обратилась с вопросом к Авениру:

– Ну, как же быть? Что же мы, Авенир, делаем?

Авенир только развел руками.

– Разве вот что, – продолжала Платонида Андревна, – разве ступай ты, Авенирка, от меня к бабушке Роховне; она хоть и не из церковных, но не строгая; она, может, сжалится – примет.

А Пизонский продолжал:

– И доложу тебе, моя умница, что одежонки на них, на бедных птенчиках, теперь никакой нет ровнехонько; одна таки еще в рубашечке, а другая, меньшенькая – совсем голенькая. Завернула я ее в свои штанцы, да не очень ей в них пристойно, а ее лохмотики все свалились, да, совсем свалились.

– Это ничего, – отвечала Платонида Андревна, – лохмотиков я сейчас вынесу. Чтоб только Дарья-воровка за мною как не подсмотрела! – добавила она, взглянув на Авенира и приложив к губам палец. – Она нонче все за мной, как есть всякий мой шаг замечает.

– А вы, невестка, будто как на пугало что негодное несете: сверните в комочек, да и пронесите, – научал Авенир невестку.

– Только я свое разве что – детского у меня ничего нет, потому детей у нас нет в доме – не

рожаю я, – заговорила, бегучи к калитке, Платонида Андревна.

Минут через пять она громко закричала на дворе «шугуу!» и выскочила на огород с туго свернутым комком, из которого мотались и коленкор, и холст, и пола стеганой ватной шубеечки.

Ткнув этот сверточек Пизонскому, она дернула за локоть Авенира и сказала:

– На, забеги оттуда в трактир, там чаю напейся, – и с этим она сунула ему в руку пятиалтынный.

Авенир ласково отвел невесткину руку и проговорил:

– Спрячьте, невестка, спрячьте; вам самим надо; а я и без чаю хорош буду.

С этими словами Авенир не хуже ловкого волтижера перелетел через частокол и побежал вслед за Пизонским, который, обхватив руками данные ему ветошки, уже выбирался широкими шагами на поле.

Глава одиннадцатая

Древлепечатная бабушка Февронья Роховна, местная знахарка и акушерка, была старуха очень добрая и, по замечанию Платониды Андревны, «не строгая». Она пустила Пизонского с принесенными им в плетушке детьми пожить в маленьком деревянном чуланчике, где у нее висели разные целебные и мнимоцелебные коренья и травки. Пока до осени Пизонок и приютился здесь, так что по крайней мере и дождь и ночные холода ему с детьми были не страшны; а Авенир каждую неделю раза два приносил сюда от Платониды Андревны и печеного, и вареного, и молока, и свежей огородины. Пизонский устраивался. Он постоянно сидел на полу в чулане возле кровати, на которой помещались его дети, и то забавлял их самодельными игрушками, то ковылял иглою, перешивая им из присылаемой Платонидой Андревной ветоши разные рубашечки, шапочки, фуфаячки да епанечки. Шил он прекрасно, как искусная женщина. Этому его научили в монастыре, когда считали его девочкой. О Пизонском

еще почти никто в это время не знал в Старом Городе; а кто знал, тот или ничего о нем не думал или думал, что это новый нищий, новый стоялец соборного притвора. Сама бабушка Роховна, глядя на его возню и хлопоты, не предрекала ему другой судьбины и мысленно упрекала его, зачем он забрал детишек.

– Как ты с ними будешь, Ионыч? – говорила ему не раз, указывая на детей, бабушка Роховна.

– Бабушка, – отвечал старухе Пизонский, – сидел пророк Илия один в степи безлюдной; пред очами его было море синее, а за спиною острая скала каменная, и надо бы ему погибнуть голодом у этой скалы дикой.

– Так, батюшка, – подтвердила Роховна.

– Да послал к нему господь ворона, – говорил, оживляясь, Пизонский, – и повелел птице кормить слугу своего, и она его кормила. Замечай: птица, бабушка, кормила! *птица!*

– Так, батюшка, точно что кормила.

– Да, мать Февронья Роховна, кормила. И послал мне господь двух птиц: летает ко мне ворон Авенир, и печется обо мне белая лебедь Платанида Андревна, и прокормят они меня с

цыплятками моими, пока я обошью ребятенок и сам стану на ноги.

«Где тебе стать на ноги?» – молча думала про себя, отходя от него, бабушка Роховна; но скоро она переменила это мнение.

Константин Ионыч, принимая пособие Авенира и Платониды, и сам не сидел сиднем и не ждал воды под лежащий камень. Энциклопедизм его скоро ему пригодился и его выручил. Пизонский показал бабушке Роховле, что ни сам он, «и его цыпляты не пропадут ни с холоду, ни с голоду.

Обшив девочек, Константин Ионыч вступил с бабушкой в переговоры о дозволении обрядить ее чулан, на свой счет в жилую каморку, с тем что он, как бог его поправит, сдаст ей все в порядке, а пока будет здесь жить, станет ей платить по полтиннику в месяц.

Бабушка Роховна, не видя для себя в этом ничего, кроме прибытка, согласилась. Пизонский, пользуясь теми часами, когда наигравшиеся дети засыпали, натаскал на бабушкин двор мешком глины, вымазал чулан самым тщательным образом, напихал в подполье

земли, сложил крошечную печурку и, наконец, спокойно крякнул.

У-у! как богат и как счастлив теперь был Пизонский, и каким назидательным примером он мог бы служить для великого множества людей, разрешающих проблематические трактаты о счастье!

Глава двенадцатая

С устройством каморки Пизонский далеко отогнал от себя всякое беспокойство. Теперь у него была только одна насущная забота – забота приучить старшую, пятилетнюю девочку Глашу присматривать в его отсутствие за ее младшей сестрой Нилочкой, или, как Пизонский звал ее, *Милочкой*.

Достигнув того, что малосмысленную Милочку можно было оставлять под надзором Глаши, Константин Ионыч начал отлучаться на короткое время из дома и после каждой такой отлучки возвращался всегда домой с покупками, на которые истратил последние два рубля, принесенные им из солдатчины. Прежде всего Пизонский пришел домой с старым муравленым горшком; потом он в несколько приемов натаскал к себе разных негодных баночек, пузырьков и бутылочек и, наконец, принес чернильных орешков, меду и голландской сажу. С этими препаратами и с этим материалом Пизонский уселся перед печкой за химические занятия. Дня через два он вышел из дому с большой бутылкой чер-

нил и с деревянным ящиком черной, лоснящейся ваксы. На чернилах Пизонский сбанкрутовал, потому что сторожа присутственных мест делали чернила на казенные деньги и, следовательно, могли продавать этот продукт на сторону гораздо дешевле Пизонского; но его свежая вакса оказалась гораздо лучше сухой синей ваксы, получаемой в плитках из Москвы, и эта часть коммерции его выручила. Константин Ионыч совсем ожил и стал еще смелее и предприимчивее. Скоро Старый Город увидал его беспрестанно снующего из дома в дом с набитым ваксою деревянным ящиком и с дешевыми, очень прочными самодельными щетками. Пизонский летал с своим ящиком во все дома, в лавки, в присутственные места, на постоянные дворы; везде он тихо и не спеша снискивал себе общую расположенность, со всеми знакомился и всякому на что-нибудь пригожался. В уездном суде часы были лет двадцать с таким частым боем, что никто не мог счесть, сколько они ударили – час или двенадцать; Пизонский снял часы, попил, постучал, и они стали бить отчетисто: раз, два, три – как следует. От-

цу протопопу Туберозову он устроил в окне жестяной вентилятор. Отец протопоп похвалил его и сказал: «Да, ты не изящен, но не без таланта». Городскому голове Котин сделал деревянную ногу, чтобы чистить на ней его высокие голенища, и тот тоже не преминул похвалить его. Дьякону Ахилле приправил, по его просьбе, шпоры к сапогам, в которых дьякон намеревался ездить верхом в деревню к знакомым. Правда, что шпоры эти жили недолго, потому что встретивший Ахиллу со шпорами протоиерей Туберозов тут же велел эти шпоры отломить; но тем не менее и эти шпоры все-таки тоже были за Пизонского. Потом Пизонский кому починил зонтик, кому полудил кастрюлю, кому спаял изломанные медные вещи, склеил разбитую посуду, и Старый Город не успел оглянуться, как Пизонский в самое короткое время прослыл в нем самым преполезным человеком. Теперь, кажется, если бы Пизонский сам задумал почему-нибудь оставить Старый Город, так все бы заговорили в один голос: «Нет, как же это мы останемся без Константина Ионыча?» Почтмейстерша, слышавшая за большую хозяйку и

великую ехидну, даже уж вперед несколько раз публично выражала такое мнение, что без Пизонского в Старом Городе и жить было бы невозможно.

С голоса почтмейстерши в самом скором времени то же самое заговорили о Пизонском и другие.

– Нет, нет, нет, – говорили эти другие, – боже спаси нас остаться без Константина Ионыча! Теперь даже вспомнить это время, как его у нас не было, когда за всяким пустяком, бывало, посылай в губернию, так и не понимаешь даже, как это мы и жили.

Пизонский, может быть, уже должен был был заботиться о том, чтобы не возбуждать против себя зависти и злословия, но Пизонский вел себя тихо, ровно и, не возносясь своими успехами, не возбуждал и ничьей зависти.

Доброе имя его все росло, и общее расположение к нему все увеличивалось. Расположение это выражалось не одними словами, но и делами. В городе вдруг оказалось несколько лиц, которых стала серьезно занимать мысль о том, как бы прочно устроить здесь быт мно-

гополезного Константина Ионыча.

Первая выразила такую заботливость почтмейстерша.

Эта полная животрепещущая дама, которой, как греческого огня, боялись все почтальоны и которой больше всех боялся ее муж, зашла в своей расположенности к многополезному Пизонскому до того, что вменила мужу в непрременную обязанность дать Пизонскому место при почтовой конторе.

– Матушка! – начинал, складывая на груди руки, умоляющий почтмейстер, желая этим покорным жестом изъяснить супруге, как трудно создать для Пизонского место при почтовой конторе.

– Что-с? – грозно окликала мужа животрепещущая почтмейстерша, – я этого требую; слышите: *требую*?

– Ангел мой! – еще ниже одною ногою запевал почтмейстер, – но если этого нельзя?

Почтмейстерша посмотрела на мужа холодным, презрительным взглядом.

– Голубчик Дезидерий Иваныч, – обратился на другой день почтмейстер к своему сортировщику, – сделай милость, научи, как бы

нам дать в конторе Пизонскому место. Непременно этого требует Агафья Алексевна.

– Ах ты, боже мой! – отвечал сортировщик, и оба они с почтмейстером задумались.

– Разве вот что, – начал, потянув себя двумя перстами за нижнюю губу, Дезидерий Иванович, – разве посадить его расписываться в получательской книге.

– Вы, ей-богу, министр, – отвечал обрадованный почтмейстер и тотчас же послал сторожа за Константином Пизонским.

Призванный Пизонский и рад и не рад был своему счастью: с одной стороны, его манила прелесть заработка за расписку вместо неграмотных, а с другой, как вспоминал он степень собственной грамотности и особенно брал в расчет долговременное неупражнение в этом капризном искусстве, он не решался взяться за это хитрое дело.

– Робка я, девушка, на пере, – говорил он почтмейстеру.

– Дезидерий Иванович тебя, Константин Ионыч, поучит; он тебя поучит, поучит.

Пизонский подумал и, поджигаемый безгрешной корыстью, отвечал: «Ну, разве по-

учит».

Дали Пизонскому место «расписчика», но только не впрок пошло ему это место по протекции. Первый же почтовый день, в который ему пришлось расписываться за неграмотного получателя, был и последним днем его почтовой службы.

– Пиши, Константин Ионыч, – диктовал ему сортировщик.

Пизонский взял в руки перо, сначала его послунил, потом обмакнул, потом положил на бумагу руку, а на руку налегнул правой щекою, долго выводил пером разные разводы и, наконец, воскликнул: «*Есть!*»

Сортировщик с внятными расстановками начал диктовать: «Оные семь рублей и десять копеек серебром получил и расписался таковой-то, а вместо его, неграмотного, отставной рядовой Константин Пизонский».

Пизонский еще крепче прижал щеку к бумаге и пошел выводить.

На этот раз он рисовал до бесконечности долго; круглые глаза его выпирало от внимательного следования за водящею пером рукою; на лбу собирались капли холодного по-

та, и все лицо его выражало невыносимую тревогу.

Это продолжалось добрую четверть часа, по истечении которой Пизонский вдруг быстро откинулся на спинку стула, потом вскочил и затрясся, не сводя глаз с своей расписки. Вид его в это время был просто ужасен: он походил на медиума, вызвавшего страшного духа и испуганного его явлением. Сортировщик и почтмейстер заглянули на роковую страницу и тоже остолбенели. На этой странице рукою Пизонского было изображено; «Оние скилбуры и удаст кокеу с рублем почул и распился отстегни на вид Константинтин...»

Это убийственное для воспроизведения пером имя подняло в душе Пизонского все забытые страдания его сиротского детства; каждое одно из другого вытекавшее «тантинтин» являлось перед ним новым, злым, насмешливым кобольдом или гномом, и он не выдержал, встал и в страхе затрясся.

– Вот, ангел мой, как он расписался, – говорил через минуту почтмейстер, предъявляя жене испорченную получательскую книгу.

Почтмейстерша не выдержала и улыбну-

лась, прочитавши Пизонского «скилбуры».

– И «отстегни на вид», – указал ей, обрадованный ее улыбкою, почтмейстер.

– Ну, что ж вы тут такое особенное показываете?

– Да помилуй же, душка: «отстегни на вид». Как же это можно так сказать? В этом ведь просто нет смысла.

– Да, я это вижу, но я все-таки буду о нем самого хорошего мнения, – отвечала почтмейстерша так, как будто она была хорошего мнения о тех, которые к почтовой службе способны.

Этот новый анекдот о Пизонском разошелся по городу; но и он нимало не повредил его незыблемой репутации.

Напротив, Пизонского чуть ли не с этих пор и начали принимать в чиновничьих домах не как ремесленника, а как свободного художника, которому мелочи приказностроительства даже и неприличны. Его теперь не кормили на кухнях, а сажали на особый стул у двери залы; ему подносили рюмку водки не между пальцами, а на ломте хлеба, и говорили ему в глаза не просто «ты», а «ты, Кон-

стантин Ионыч». Он до такой степени выдвигался из положения рабочего смерда, что даже сам голова стал посылать ему чаю не в сени, а в молодцовскую, и позволял рассуждать с собою стоя у притолки. И не прошло года, как все заметные люди Старого Города самым незаметным образом очутились друзьями и сторонниками убогого пришельца Пизонского, и ему настала пора сделаться собственником и гражданином.

Глава тринадцатая

Принося всем и каждому посильные услуги и втираясь без всяких подобострастных искательств во всеобщее расположение, Константин Ионыч никогда не жаловался на свою судьбу и даже никогда ни слова никому не говорил о своих сиротках. Разве когда кто сам его о них спрашивал: «Ну, как, Константин Ионыч, твои дети?» – то только в таких случаях Пизонский отвечал: «А живут, моя девушка, помаленечку».

– Ты бы, Константин Ионыч, подумал, чтоб дать им какое-нибудь воспитание, – говорили ему барыни. Пизонский отмалчивался или коротко отвечал:

– Как же, девонька, я думаю.

– Хоть бы ты ко мне их присылал поучиться, – предлагала ему почтмейстерша.

Пизонский и от этого отделялся:

– Дики они у меня, дружок: очень сиротливы; людей не видали; куда им в господском доме!

У Константина Ионыча насчет воспитания сирот были свои планы, о которых он ни с

кем не говорил, но которые знал до малейших деталей.

Совесть, не допуская Пизонского никому ни на шаг перебивать никакой дороги, изошрила его внимание к тем бросовым средствам, которые лежат праздными, которые как бы никому ни на что не нужны и не обращают на себя ничьего внимания. Неудача почтовой карьеры еще более убедила Пизонского, что он не может идти путями протекций. Он чувствовал, что ему пригодны одни прямые пути; что для него гораздо удобнее брать в свои руки то, чем небрегли другие и что не даст ему ни недостойной борьбы, ни врагов и завистников.

Пизонский видел, что на нашей просторной земле, на нашей широкой полосе, и нежатой и неоранной, еще нетронутого добра будет и преизбудет на всякую плоть, не щадящую пота своего, и он сделал новый шаг к устройству сирот своих. В одно лето Пизонский явился на сходку в Думу и сказал:

– Не будет ли, господа думцы, вашей милости пустить меня с сиротами покормиться под мост на пустой остров?

– И вправду, – заговорило общество, – пустим их на наш пустой остров. Все равно ведь от этого пустыря никакой пользы нет, – пусть же эту лядою[4] хоть добрый человек пользуется.

И Пизонский безданно и беспошлинно получил в долгосрочную временную собственность пустой остров – царство запустения, бурьяна, ужей и крапивы.

Это приобретение было для Пизонского таким великим счастьем, что он не мог и вообразить теперь кого-нибудь счастливее себя на целом свете. В первый же год по получении в свою власть этого острова он поставил здесь хибарочку, выкопал землянку, окопал ровок и поставил воротцы. На другой год пустынный остров был уже бакшою, давшею Пизонскому с сиротами и хлеб, и соль, и все, еже им на потребу. Зимой Пизонский почувствовал себя даже барином. Он добыл, где мог, различных книжек и научил своих сироток грамоте, и успехи обеих, очень понятливых, девочек были Пизонскому неслыханным утешением. В таком прелестном благополучии, в таком райском житье прошли для нашего Робинзо-

на целые четыре года: семейный мир его не возмущался ничем ни на минуту; дети его подрастали и учились; у него завелись лошадка и тележка, которую он, по любви к искусствам, каждую весну перекрашивал в новую краску; годы шли урожайные, нечего было и желать больше. Пизонский всеми был почитаем за человека, годного на все и повсюду, и действительно он только не годился в чиновники.

Так Пизонский возник без опеки и без покровительств и уже сам покровительствовал тому, что имеет право на покровительство, — *детству*. Но... всегда ждут нас, где мы не думаем, разные скверные *но*.

Глава четырнадцатая

В тот приснопамятный год, когда во многих местах России перед осенью во второй раз зацвели в садах вишни и яблони и народ за- пророчествовал по этому явлению великий мор на люди, отошел в вечность Марко Деев, муж встреченной нами на огороде молодицы Платонида Андревны. В огромной дубовой колоде, с пудовыми свечами, с ладанным курением и гнусливым раскольничьим пением отнесли его на кладбище и сровняли, по обычаю, с землею, которую он протоптал лет полсотни своими сапожищами. Никто особенно не убивался на могиле отошедшего Марка. Вдова его, Платонида Андревна, тихонько поплакала, да старик Маркел Семеныч уронил несколько слезинок. Только всего и было вещественного выражения скорби по этом усопшем. Брат покойника Авенир оставался совершенно равнодушен к смерти своего жестокого брата, тем более что в течение трех последних дней, которые мертвец простоял в доме, старик Маркел Семеныч, начавший, страха ради холерного, прилежать чарочке,

раз пять принимался колотить Авенира чем попадя, упрекая его при этом в бесчувственности и говоря, что «вот тебе бы, нерачителю, следовало растянуться, а не брату». Маркел Семеныч, взволновавшись один раз горем утраты, страхом смерти и вином утешения, никак не мог войти в свою форму и не уставал поддерживать себя стаканом. Засыпав сына землею, он и там, на кладбище, выпил за его душу одну серебряную чарочку, роздал там же своею рукою мешок медных денег на помин сыновней души и сел верхом на свои старинные дрожки, запряженные толстою вороною лошадыю, а в колени, боком к нему, робко присела овдовевшая невестка Платонида Андревна. Ясные с темной поволокой глаза молодой вдовы были очень мало заплаканы, и чуть только она с свекром выехала с кладбища на поле, отделяющее могилки от города, эти ясные глаза совсем высохли и взглянули из-под густых ресниц своих еще чище, чем смотрели доселе. Словно они только умылись слезой, или словно теперь только они и увидели впервые свет божий. Да именно скорее можно было предполагать, что они теперь

только впервые и увидели этот свет. Это говорили не одни глаза красавицы, но и ее белая грудь, которая вздыхала теперь вольно и широко, колышась под кармазинной душегрейкой.

Кто бы теперь только дерзнул напомнить этой пышной розе: «ты вдовица!», чья бы рука налегнула срезать таким напоминанием этот роскошный цветок, так сильно протестовавший за свое право цвести, зрение радовать и разливать ароматом? Нет, самый пламеннейший идеалист не посоветовал бы ей проводить жизнь в воздыханиях о переселившихся в вечность; ее не осудил бы на сожжение с мужем самый фанатический индеец, и если суровый аскет не сказал бы ей: «Жено! вперед отпускаются ти вси грехи», то поэт, глядя в ее детское личико, должен был воскликнуть:

*Мертвый в гробе мирно спи,
Жизнью пользуйся живущий!*[5]

Даже суровый старик Деев не щунял ее за скудость источников ее слез, и он, возвращаясь с сыновних похорон, прощал невестке

земную красоту ее и, поглядев на нее, проговорил только:

– Тебе неловко сидеть, Платонида! Сядь, лебедь, сюда ближе! – С этим старик своею рукою подвинул невестку от кучерової спины к своим коленам и еще раз добавил: – сядь так.

– Нет, тятенька, ничего мне; мне даже очень прекрасно, – отвечала Платонида Андревна.

– А ты еще попридвинься: так еще будет лучше.

Платонида Андревна в угоду свекру слегка подвинулась. Маркел Семеныч долго смотрел ей на нос, на лоб, на ресницы и, наконец, проговорил:

– Ты, молодица, по муже хошь и плачь в свою меру, потому что он тебе был муж; ну, очень-то уж ты не убивайся; ты забыта и обижена в моем доме не будешь.

Платонида Андреева легонько поклонилась свекру.

Эта покорная благодарность так понравилась Маркелу Семенычу, что он, слезая у ворот с дрожек, крепко сжал за локоть невесткину руку и еще раз сказал ей:

– Не бойся, моя лебедь, никого не бойся.

За заупокойным столом Маркел Семеныч несколько раз публично заговаривал, что хоша сын его и умер бездетным, но что он, почитаючи его вдову, а свою невестку, желает ей сделать определение и намерен дать ей равную с Авениром часть.

– А может быть даже, – добавлял он, искоса взглядывая на Авенира, – может быть, что в таком буду мнении, что и все ей одной отпишу, как она того заслуживает, потому что ничем я не могу ее укорить и всем я ею доволен, а добро есть мое собственное – кому его захочу отдать, тому и отдам.

Платонида Андревна краснела до самых ушей, не знала, что ей говорить и что думать, и в смущении растерянно кланялась за столом в пояс свекру.

Во все время обеда Маркел Семеныч все себя подправлял, все попивал по чашечке и, наконец, захмелел. Проводив, как мог, гостей, он повалился на диван и только бессмысленно произнес:

– Невестка!

Платонида Андревна с Авениром взяли

старика под руки и отвели его в спальню.

– Невестка! – произнес он снова, еще более заплетая языком, когда его положили в постель.

– Что изволите? – спросила его Платонида Андревна; но Маркел Семеныч уж спал и ничего ей не ответил.

Авенир с Платонидой оставили старика высыпаться и разошлись.

Глава пятнадцатая

А венир, побродив по огороду, пошел со двора, а молодая вдова села, пригорюнясь, у окошечка. Сурового, неприветливого мужа ей не жаль было, потому что ничего она от него во всю свою жизнь не видела, кроме угроз да попреков, и никогда ничего лучшего не ожидала от него и в будущем. Но что же и теперь у нее впереди? Что ждет ее, одинокую, вдовую, бесприданную, в ее нынешних молодых годах? А жизнь так хороша, а жить так хочется, так манится, так что-то кружится-кружится перед глазами...

– Эх, чур меня совсем, что это такое мне думается, – проговорила в досаде Платонида Андревна и, сердито почесав одною рукою локоть другой руки, оперлась ею о подоконник и села и стала глядеть, как на карнизе фронтона амбаров сладко целуются с дружками сизые голуби.

Пусто и скучно вокруг; скучно и пусто и на сердце Платониды Андревны.

«Лучше б уж скорей состариться; лучше б я не шла никогда замуж; лучше б меня в мона-

стырь отдали...» – думала она, отирая кисейным рукавом выступавшие на глазах почти детские слезы, и, вздыхая, перекладывала голову с одной усталой руки на другую. Так прошел час-другой, и тяжелый день тихо сгорел перед ее глазами.

В самые густые сумерки к ней вошел Авенир. Он оглянулся по комнате, повесил на колок фуражку, сел против невестки на стул и подал ей на руке кисть винограда.

– Где ты это взял, Авенир? – спросила его Платонида Андревна.

– Лялиным бакалеи пришла, так и этого привезли; только, говорят, его теперь есть при этой болезни не годится.

– Отчего не годится? Ну-ка, давай-ка сюда, я погляжу, как не годится.

Платонида взяла виноградную кисть, объела на ней все ягоды, обтерла рукавом алые губы и, выбросив на галерейку за окно пустую кисть, потихоньку засмеялась.

И Авенир и вдова были совершенно спокойны; но обоим им что-то не говорилось.

– Ты где был? – спросила Платонида нехотя своего деверя.

– Так... в проходку немножко ходил, – отвечал Авенир.

– Скучища у нас на дворе такая, что ужась.

– Да ведь что заведешь делать-то?

– Что ты говоришь?

– Говорю, что что ж, мол, заведешь делать, что скука?

– Мой бы згад: теперь хорошо спать ложиться, – проговорила Платонида Андревна.

– Да и что ж такое.

– Только и всего, что тятенька встанут, надо им чай собрать.

– А вы тогда и встаньте, как он проснется; да он хмелен очень; навряд ли он еще и проснется-то.

– И то послушаюся тебя, часочек какой вздремну куда так, в платье. Иди-ка ты от меня с богом.

Молодой человек встал и снял с гвоздя свою фуражку. В одно время с ним поднялась с своего места и Платонида и, позевывая, проговорила:

– Ох, господи, чтой-то у меня перед чем-то так локти чешутся?

– На другом месте спать, невестка.

– Еще что ври! на каком это на другом месте спать мне? Это локти к горю чешутся, – добавила она, выпроваживая деверя, и защелкнула за ним дверь на задвижку.

Оставшись одна в запертой комнате, Платонида поставила около покрытого ковром сундука свечу и железный ящичек с трупом, серниками и огнивом, перекрестилась, легла на этот сундук и, утомленная трехдневными хлопотами по похоронам, в ту же минуту крепко заснула.

Ничего во сне не привиделось Платониде Андрееве, только все ей сквозь крепкий сон хотелось проснуться, потому что знала она, что нужно напоить свекра чаем, и даже стало ей чудиться, будто свекор ее кличет и говорят ей: «Что ж это ты, Платонида, развалилась, словно белуга разварная! встань же, напой меня, пожалуйста, чаем». И два, и три, и четыре раза все это слышалось Платониде, и, наконец, в пятый раз уже послышалось так явно, что она вскочила и, сидя на постели, крикнула:

– Сейчас, тятенька, сейчас!

Глава шестнадцатая

Протерши глаза, Платонида Андревна оглянулась по покою: кругом темнота густая, черного шкафа даже никак не отличишь от желтой стены; на лежанке, впрочем, чуть обозначается блестящий самовар, да длинное полотенце белеется на шнурке, словно мертвец, стоящий в саване.

Платонида Андревна вздула огня, потом запустила руку под сундук и достала оттуда топор, а из угла взяла сухое березовое полено, чтобы нащепать лучники. Но прежде, чем ударить хоть раз топором по плахе, она подумала: «Да не послышалось ли все это мне во сне? Может, батюшка и спит еще».

Эта мысль заставила молодую женщину взять свечу и выйти в залу.

На больших стенных часах было половина первого. Платонида Андревна потихоньку подошла к двери свекровой спальни и прилегла ухом к створу. В опочивальне старика было тихохонько.

– Это мне, значит, все во сне почудилось, – решила вдова и, зевнув, пошла опять в свою

комнату.

Снова запершись на крючок в своей вдвоем спальне, Платонида Андревна поставила свечу на стол против окна и стала раздеваться.

«Ну, да будет же с меня хоть и этого счастья! будет с меня хоть и того, что я хоть в спальне-то у себя в покое поживу одна без него, без привередника», – подумала она и, нетерпеливо сбросив на пол две лишние теперь подушки, развязала юбку и села на постель с такою смелостью, с какою не подходила к ней и не садилась на нее ни разу отроду.

Эта рослая, дородная красавица с душою младенца, с силою мужчины, с грудью, которая должна бы вскормить богатыря, теперь напоминала невиннейшую пансионерку, которая, (вознаграждая себя за год стеснения, тешится однодневной свободой отпуска.

Новые ощущения независимости и свободы так переполнили собою младенческую душу и мысли Платониды Андревны, что ей даже не захотелось более спать; да к тому же она и выспалась. Теперь ей хотелось сидеть, думать, бог весть о чем думать, и только ду-

мать. Она так долго не смела ни ступить; ни молвить слова без упрёка и без поучения, и вот теперь она одна, никто ее не видит на этой постели, никто ей не скажет: «чего ты тут вьешься? чего егозишь, чего ерзаешь?»

Она пересела еще раз и еще; потом прилегла впоперек кровати и снова привстала и, улыбнувшись на две лежащие на полу подушки, вспрыгнула, постояла, завела назад за голову руки, закрыла глаза и через минуту, раскрыв их, кинулась в страхе в угол постели и задрожала. На верхней подушке покойного Марка, которую шаловливая вдова его сбросила на пол, по самой середине была небольшая ложбинка, как будто бы здесь кто-то незримый лежал головою. В самом верху над этой запавшей ложбинкой, в том месте, где на мертвецком венце нарисован спаситель, сидел серый ночной мотылек. Он сидел, высоко приподнявшись на тоненьких ножках, и то поднимал, то опускал свои крылышки, словно схимник, осеняющий воскрытиями своей мантии незамкнутую могилу.

Платонида вздрогнула. Серая пыльная тля в мгновение ока истлила ее эгоистическую

радость; а этой порой мотылек и еще раз, и два, и три раза тихо коснулся подушки своими крылами, и тихо же снялся, и тихо пропал за окном во тьме теплой ночи.

Вдова быстро встала с постели, спешной рукой затворила за улетевшею бабочкой открытую раму и молвила: «Грех мне! не честь мне; не след мне валять по полу его подушки!»

С этими словами она подняла подушки с полу и положила их на пустую лежанку.

В эту минуту ей послышалось, что у нее за дверью кто-то вздохнул.

Платонида схватила еще торопливее те же самые подушки и, положив их на диван под святые, быстро отошла от них прочь и стала у своей кровати.

Теперь все было тихо по целой комнате, и на полу, и на холодной лежанке, и за запертой дверью, и на постели.

– О, упокой, упокой его, господи, – лепетала себе вдова с чувством теплой признательности к мужу за то, что он умер и оставил ее хоть госпожою этого угла да постели. – Но полно мне полуношничать!

И Платонида стала раздеваться.

Глава семнадцатая

Но едва молодая вдова сняла с себя платье, как в мертвой тишине ночи ей опять показалось, что как будто кто-то стукнул рюмкой у шкафика, в котором покойный муж всегда держал под ключом вино и настойку. Платонида Андревна, стянув с себя половину чулка, подождала и, не услышав более ни одного звука, подумала: верно, это возьтятся мыши.

Успокоив себя таким предположением, молодая женщина сдернула с себя чулки и подошла к стоявшему перед окном маленькому паркетному столику; поставила на него свечу и, лениво потянувшись, стала сменять дневную сорочку. Но чуть лишь она спустила с плеча распущенный ворот, как вдруг ей показалось, что что-то такое темною тенью промелькнуло по галерее мимо самого ее окошка. Ей почудилось, что это словно тень человеческая. Платонида Андревна была впечатлительна, но она сообразила, что это ходит живой человек, а не пришлец из гроба, и в ту же секунду быстро задула свечку и, скорей нахватав на себя ночную рубашку, подумала:

«Однако что ж это за мерзавец стал этот негодный Авенирка! В рожу ему только после этого остается плюнуть».

И она твердо решила не простить шалуну этой новой его дерзости. Платонида накинула себе на голые плечи старенькую гарнитуровую шубейку, в которой мы ее видели утром разговаривавшую с Авениром на огороде, и притаилась тихо за оконницей. На галерее теперь все было тихохонько, не слышно было ни шума, ни шороха; но Платонида не доверяла этой тишине. Она притаилась и стояла с самым решительным измерением при первом новом появлении под ее окном ночного посетителя распахнуть раму и плюнуть ему в лицо.

Глава восемнадцатая

Соображения Платониды Андревны не обманули ее: ночной гость не заставил себя долго дожидаться.

Не успела полураздетая красавица и двух минут простоять за оконным косяком, как со стороны галереи, по темному стеклу окна, тихо выползла сначала одна кисть человеческой руки, потом показался локоть, потом плечо, и, наконец, выдвинулась целая мужская фигура...

Как ни темна была безлунная ночь, только изредка мерцавшая несколькими звездочками, но в комнате стало еще темнее, когда единственное окно совсем заслонила собою подошедшая фигура.

Платонида продолжала стоять тихо, прикрывая накрест сложенными руками белую грудь, в которой крепко стучало и невольно замирало и страхом и негодованием нетерпеливое сердце. Несмотря, однако, на все свое негодование, оскорбленная вдова удерживалась и, утаивая дыхание, ждала, чем это все кончится.

Ночной соглядатай стоял и прислушивался очень долго, наконец, ободренный мертвою тишиною, осторожно тронул пальцами запертые изнутри полы створчатой рамы. Он делал это с большой осторожностью, но делал неловко. Пальцы его беспрестанно соскальзали и черкали ногтями по окрашенной планке рамы. Платонида слегка придвинула к окну свое ухо, и ей стало слышно, что царапавшийся к ней человек тяжело дышит и дрожит всем телом. По мере того как Платонида Андреевна, скрепя свое сердце, долее и долее удерживалась, противная сторона все становилась смелее и уже начинала потряхивать раму без всякого опасения и без всякой осторожности.

«Однако этак он, мерзавец, чего доброго, еще может разбудить и свекра», – подумала Платонида Андреевна, и с неописанным негодованием бросилась к окну, и остолбенела.

Это был совсем не Авенир, а у окна стоял сам ее седой свекор Маркел Семеныч.

Платонида удержала свой порыв и в недоумении опустила руки.

Увидя перед собою невестку, Маркел Семе-

ныч на мгновение смутился, но потом что-то глухо забормотал и тихо застучал в стекло ко-
сточкою среднего пальца.

– Что вам, тятенька, угодно? – выговорила, стараясь оправиться в свою очередь, и Платонида Андревна.

Старик снова что-то зашептал еще тише; но из этих речей его в комнате не было слышно ни одного слова.

– Не слышу, – сказала Платонида Андревна, прикладывая к створу окна свое ухо.

Маркел Семеныч начал страстно целовать стекло, к которому прилегал локоть Платониды.

Невестка с ужасом посмотрела на свекра и не узнала его. Совершенно седая голова старика, напоминающая прекрасную голову Авенира, была художественно вспутана, как голова беловласого Юпитера; глаза его горели и белая миткалевая рубаша ходила ходенем на трепещущей груди.

– Лебедь! лебедь! – шептал ошалевший старик, царапаясь в окно невесткиной вдовьей спальни, как блудливый кот в закрытую скриницу.

– Я, тятенька, сейчас вам поставлю самовар, – проговорила, отодвигаясь от окна, смущенная Платонида Андревна.

– Нет, ты самовара не ставь... Мне не надо самовара... Ты мне отопри... впусти меня... я тебе одно дорогое слово скажу... одно только слово...

– Ну, дай час, тятенька, я враз оденусь.

– Нет, нет, нет, зачем тебе одеваться?.. тебе и одеваться не надо: ты не одевайся; ты отопри скорее... отопри...

– Да я, тятенька, в одной блошнице!

– Ну так что ж что в одной блошнице!.. Мы ведь с тобой не чужие... Отопри на минутку, – настаивал беспокойно, суется на одном месте, старик.

Платониде стало страшно, и она бросилась в сторону, но только лишь белое плечо ее сверкнуло в темноте ночи перед глазами Маркела Семеныча, как медный крючок, запиравший раму, от сильного толчка полетел на подоконник и рама с шумом распахнулась, а обе руки свекра схватились за тело невестки.

– Тятенька! тятенька! да что же это та-

кое? – закричала, отчаянно вырываясь, Платонида Андревна; но свекор, вместо ответа, рванул сильной рукою врозь ее руки и впился горячими губами в ее обнаженную грудь...

– Блудня! прочь от меня! – вскрикнула с омерзением Платонида, почувствовав на своей груди трясущуюся сухую бороду свекра.

Уразумев теперь, наконец, настоящий смысл его посещения, она с азартом запустила обе свои руки в белые волосы старика и оттянула его голову от своей груди. В это же самое мгновение она почувствовала, что крепкие, жилистые руки свекра растерзали ее холщовую рубашку, и Платонида, почти нагая, очутилась в объятиях распаленного старца.

– Авенир! – вскрикнула она, но старик перехватил ей горло и стал целовать ее в губы.

Он был очень силен, и Платонида напрасно молила?

– Батюшка, смилуйся! я от тебя этого стерпеть не могу!

Маркел Семеныч только крепче обнял стан невестки и, прошептав: «со мной – не с чужим», перенес в комнату через подоконник свою ногу.

Платонида воспользовалась этим движением – юркнула из-под рук свекра на пол, и в руке ее вдруг блеснул топор, которым она за час перед этим собиралась щепать лучину. В одно мгновение топор этот звякнул, вонзился в столб галереи, и в это же самое мгновение Маркел Семеныч тяжело ряхнулся навзничь и застонал...

Глава девятнадцатая

Бросив топором в свекра, Платонида Андревна была уверена, что она убила старика. В немом ужасе она выскочила из своей комнаты, перебежала двор, остановилась у задних ворот и, тяжело дыша, схватилась за сердце. В тишине ночи до ее слуха долетело прерывистое хрипение. Платонида Андревна дрожала: в ушах ее раздавались резкие, свистящие звуки, как будто над самую ее голову быстро проносилась бесчисленная стая куропаток; крыши и стены зданий шатались, и откуда-то капала кровь; острог, страшное, бесчеловечное наказание, вечная каторга – все разом, как молния, пронеслось пред мысленными очами вдовы, еще так недавно мечтавшей о жизни, и заставило ее встрепенуться с отчаянной энергией. Она запахнула около груди шубейку, тихо выползла в подворотню на огород, с огорода перебралась, через тын, за город и, ударившись бежать задями, пропала в темноте ночи.

Между тем Маркел Семеныч тяжело хрипел, лежа на галерее. Удар Платониды Ан-

древны минул его седой головы; но он минул ее лишь только потому, что за терцию до этого удара две сильные руки Авенира схватили отца сзади и бросили его на пол в то самое мгновение, когда блеснувший топор, слегка поранив плечо старика, глубоко завяз в дереве. Маркел Семеныч не чувствовал ни своей вины, ни своего стыда и унижения. Теперь не было ни страсти в его крови, ни негодования в его сердце, ни силы в мышцах. Старая плоть его, распалась вином и вызграв сластью желаний, сразу упала до совершенного бессилия. Так оцепеневший под снегом овраг порою вызграет при мартовском солнце, зашумит быстрым подснежным потоком и, сбегав, обессиленный рухнет всей своею массою на холодное днище.

Не видя со стороны отца никакого сопротивления, Авенир подержал его на полу и потом освободил, а сам молча скрылся. Старик, оставшись один, опомнился не скоро и не вдруг почувствовал униженное состояние, в котором теперь находился.

О побеге Платониды Андревны ни он, ни Авенир не знали во всю ночь. Оба они думали, что невестка заперлась у себя в кладовой на вышке. Первый в доме хватился ее на другой день Авенир. Он долго искал ее и нигде не нашел. Старик Маркел Семеныч заперся у себя и не показывался.

Платонида Андревна сгинула. Нигде не могли найти никаких ее следов, и пропажа ее сделалась причиною больших несчастий для того, кто менее всех был в ней повинен.

Вынужденный объяснить чем-нибудь пропажу невестки и не уверенный, что она сама станет рассказывать в случае ее отыскания, Маркел Семеныч завершил ночь безумия своего клеветою, что Платонида с Авениром хотели его убить и ограбить, и показал свою рану. Этим старик мстил и сыну и невестке и разом отделялся от них обоих. Авенира взяли в тюрьму, а полицейским розыском, поднявшимся по случаю пропажи Платониды Андревны, было обнаружено, что ночные водоливы, работавшие в ту ночь на одной чинившейся барке, видели, как кто-то весь в белом, – не то женщина, не то, еще вернее, ведь-

ма шибко пробежала по берегу и вдруг где-то исчезла. Двое из водоливов говорили, что ведьма скинулась рыбою и бросилась в воду, а двое других, напротив, утверждали, что они ясно видели, как она переплыла в рубашке речку и вышла на бакшу к Константину Пизонскому.

Пизонского заподозрили в укрывательстве деевской невестки; его обыскивали, допрашивали, посадили в острог и, вероятно, присудили бы к ссылке. Хотя Константин Ионыч на все делаемые ему вопросы только и отвечал следователям, что «ничего я этого, милые, никогда не знала и не ведала», но было ясно, как солнце, что в целом мире, может быть, лишь один Пизонский и знал, куда делась пропавшая деевская невестка. И судьи и обыватели города живо чувствовали, что для разъяснения всего неразгаданного дела только и нужно, чтобы разомкнулись молчаливые уста Константина Пизонского. Судьи утверждали, что старогородский Робинзон лжет, отпираясь от всякого участия в исчезновении Платониды Андревны, и что он, может быть, и сам прикосновенен к покушению на жизнь ста-

рика Деева. Не отрицал и народ, что Константин Ионыч лжет, повторяя свое «не знаю, не ведаю»; но народ был уверен, что Пизонский лжет, покрывая чужой грех. Хорошо это или нехорошо, народ не строго разбирает и верит, что «есть ложь во спасение».

Глава двадцатая

По этому делу Константин Ионыч сидел в тюрьме и освобожден с оставлением в подозрении, но ничего к обнаружению Авенира и Платонида от него не узнали. Впоследствии же говорили и несомненно верили, что Платонида никуда далеко не уходила, а была скрыта у скитниц и что появившаяся затем в этом ските «провидущая» старица Иоиль была эта же самая Платонида. Она «выплакала очи» и была слепа – ходила ощупью с палочкой, а в глазных впадинах у нее были вставлены «образочки». Об Авенире говорили, что он, будучи сдан в солдаты, вышел «большой воин „а Кавказе“ – заслужил себе „чин и крест“ и при отменной своей красоте женился на генеральской дочери. Один раз он приезжал будто в Старый Город, и ходил в скит, и видел старицу Иоиль, а она его видеть не могла, но по голосу узнала и вздрогнула, а по голове руками пошарила и спросила:

– Покаянная ли теперь сия глава или еще не раскаянная?

Авенир отвечал:

– Покаянная.

– Вот и хорошо, – сказала старица Иоиль, – окорми разумом путь свой к пристанищу благодатишному, – и затем добавила:

– А теперь прощай, с богом, навеки.

Примечания

...читали на память «Манфреда» и Козловского «Чернеца». – «Манфред» – драматическая поэма Байрона; «Чернец» – поэма И. И. Козлова, герой которой – монах.

[^^^]

2

Половень – сарай для половы, мякины.

[^^^]

3

Ухоботье – сорное зерно.

[^^^]

4

Ляда – низкая, сырая пустошь.

[^^^]

5

«Мертвый в гробе мирно спи» и т. д. – цитата (не вполне точная) из баллады Шиллера «Торжество победителей» в переводе Жуковского («Спящий в гробе мирно спи»).

[^^^]